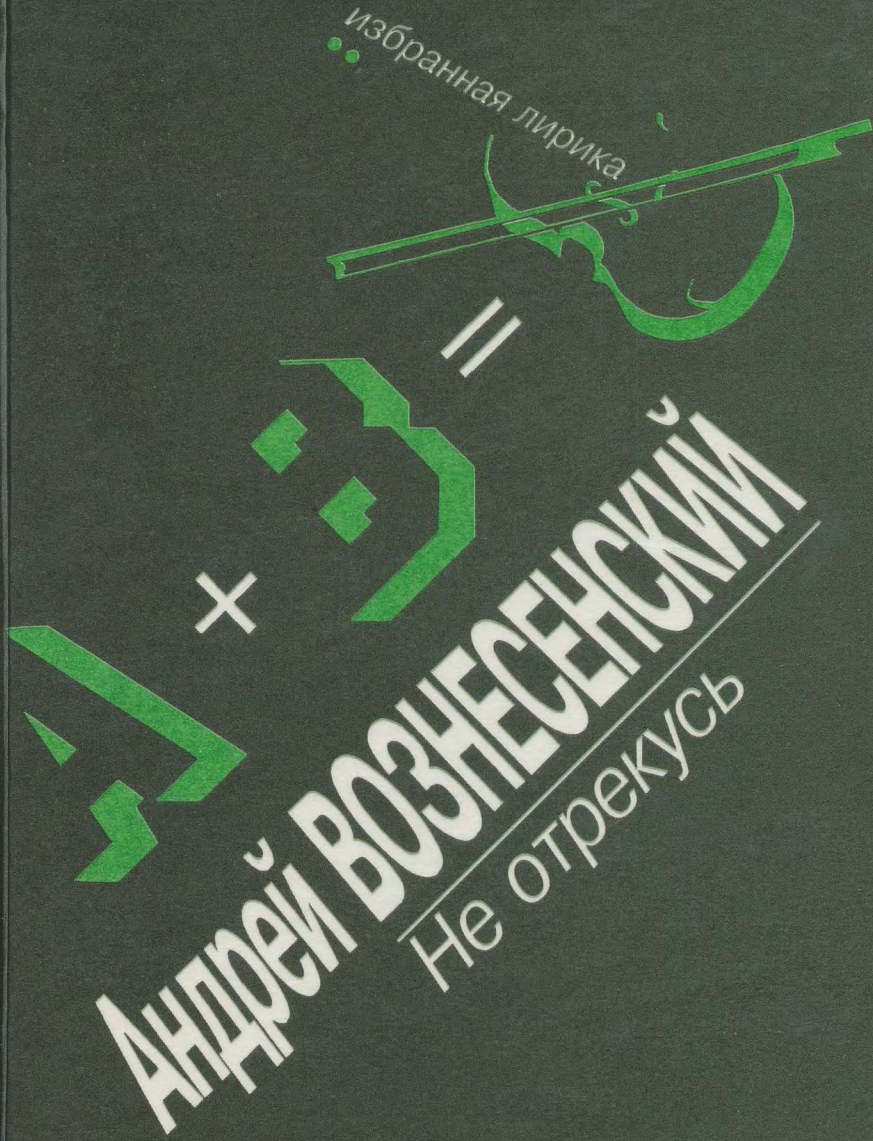


Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ



Не отрекусь



избранная лирика

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Не отрекусь

Вуль

Возвещен

ФОТО ЮРИЯ ИВАНОВА





Вульфсон
Возвращение

Не отрекусь

избранная
лирика

Минск
БелАДИ
1996

ББК 84(2Рос — Рус)6
В 64
882-1

Составители

В. Г. Жак, Е. К. Знак

Вознесенский А.

В 64 Избранное /Сост. В. Г. Жак, Е. К. Знак — Мн.:
БелАДИ, 1996. — 320 с.

ISBN 985-6319-05-6.

Андрей Андреевич Вознесенский — выдающийся русский поэт, один из крупнейших поэтов мировой литературы 20-го столетия, автор многих поэтических сборников и драматургических произведений, а также скульптурных творений.

Настоящий сборник стихов поэта — один из наиболее полных среди изданных за последнее десятилетие. В него вошли произведения разных лет, в том числе и написанные в последние годы. Несколько стихотворений публикуются впервые.

В 8820100000

ББК 84(2Рос — Рус)6

ISBN 985-6319-05-6

© А. Вознесенский, 1996
© Составление. В. Г. Жак, Е. К. Знак, 1996
© Оформление. В. П. Мастеров, 1996

НАДПИСЬ НА «ИЗБРАННОМ»

*Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.*

*Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.*

*Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!*

*В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.*

*Я жизнь мою
в исповедальне высказал.*

*Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.*

*Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.*

Не отрекусь.

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
От возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас
расколется!
И так же сочны и вкусны
Милиционерские околыши
И мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот —
земля
мotaется
в авоське
меридианов и широт!

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой
краснозадою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!
Все — начато!
Айда в кино!

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал,
будто доменной печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня, —
в полушубках, кровь с огнем,
как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний,
В том доме женщина живет
И мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою,

Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
Поймет осенний зов полей.
Полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та — с плодами,
Буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
И на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
Я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
Лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
До железнодорожной линии
Сужаясь, тянутся следы.

АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят
Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
есть антимужчины,
в лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
благоуханна и гола,
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы
 сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
 вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,
беспечный, милый мотылек,
живешь ты,
 мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!
И уши красные горят,
как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок,
наверно, прав научный хмырь.

Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.



Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
И плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенев до немоты,

Стоят, как каменные, бабы,
Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом —

Как понимает их планета
Своим огромным животом.

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
Несли короновать.

Седее, чем гранит,
Как бронза — красноват,
Дымясь локомотивом,
Художник жил,
 лохмат,
Ему лопаты были
Божественней лампад!

Его сирень томилась...
Как звездопад,
 в поту,
Его спина дымилась
Буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят
Без шапок,
 будто в храм,

В гудящие уголья
К березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход
К полянам и планетам
От ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
Ворочаются корни
Корявой пятерней.

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон

ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попросаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка.
Спасибо жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душевной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили
лицом по снегу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрещины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет

Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда
и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело

ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их величеством поразвлекься
прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
контрразведчица,
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берет ее
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:

«А-а-анхен!..»

Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоньки?»

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?»

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.



Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...»

Понимаешь, пришили превышение
скорости в возбужденном состоянии.
А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
не знать километроминут,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

За эти года световые
пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнойшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся —
а ты божество!
И все-таки нас большинство.

ПРОЩАНИЕ
С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милицционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура, вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,

Твое Величество —
Политехнический!
Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?
Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической...
Политехнический,
ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!

БАЛЛАДА-ДИССЕРТАЦИЯ

Нос растет в течение всей жизни.

Из научных источников

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но Ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
Медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,

но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
 подобно шпилью,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
 рос
 нос,
 как чеки в булочной,
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.

На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

Но это нам не привилось.

РИМСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В Риме есть обычай
в Новый год выбрасывать
на улицу старые вещи.

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой
невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,
телеграммы,
 объявления,
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны.
Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомицам.
Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет,
расставаясь со старьем.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.

Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.

Может, будет год нелегким?
Будет в нем погод нелетных?
Не грусти — не пропадем.
Образуется потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
 без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

СТЕКЛОЗАВОД

Сидят три девы-стеклодувши
с шестью, полыми внутри.
Их выдуваемые души
горят, как бычьи пузыри.

Душа имеет форму шара,
имеет форму самовара.
Душа — абстракт. Но в смысле формы
она дает любую фору!

Марине бы опохмелиться,
но на губах ее горит
душа пунцовая, как птица,
которая не улетит!

Нинель ушла от моториста.
Душа высвобождает грудь,
вся в предвкушенье материнства,
чтоб накормить или вздохнуть.

Уста Фаины из всех алгебр
с трудом две буквы назовут,
но с уст ее абстрактный ангел
отряхивает изумруд!

Дай дуну в дудку, постараюсь.
Дай гостю душу показать.
Моя душа не состоялась,
из формы вырвалась опять.

В век Скайлэба и Байконура
смешна кустарность ремесла.
О чем, Марина, ты вздохнула?
И красный ландыш родился.

Уходят люди и эпохи,
но на прилавках хрусталия
стоят их крохотные вздохи
по три рубля, по два рубля...

О чем, Марина, ты вздохнула?
Не знаю. Тело упорхнуло.
Душа, плененная в стекле,
стенает на моем столе.

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
 невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
 когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актерам,
 жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,

о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,

что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,

лицо измято,
глаза разорваны

(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой
самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

невыносимо
 горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хrome лица,
зять Букашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

*Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.*

Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

*Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились
в воздух.*

Он взглянул на нас. И — или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна, над
запекившимися шерстинками шеи блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко расставлены, как
на фресках Дионисия.
Он взглянул изумленно и разгневанно.
Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни

Тишины...

звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.

Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам, там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад
разомкнемся немим изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
 обуть,
 быть умной,
 хохотать, —
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
 куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.
 Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
 в капронах
 ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны,
 люди,
 лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!

Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

МАЯКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И как рана,
Маяковский,
 щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалеван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж — рвануть судьбой,
чтобы ликом,
 как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень,
впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришел
на Вашу выставку,
Маяковский.

Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовую пломбочкой ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем,
как гимнаст,

башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями —
нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом
от самолета,
точно бритвою по лицу!



Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик
и диафрагму мое плечо щекочет.

«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают. Лень».
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к Диогену — лень.
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтрага потерпит!
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень».
Лень.

И лень окончить мысль. Сегодня воскресень...

Колхозник на дороге
разлегся под шафе
сатиром козлоногим,
босой и в галифе.

ПЛАЧ ПО ДВУМ
НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!
Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине, —
встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,

как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Браманте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.

Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
Гамлет?
вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.

И в памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь

потраву, —

Вечная слава!

Вечная слава!

ИЗ ЗАКАРПАТСКОГО ДНЕВНИКА

Я служил в листке дивизиона.
Польза от меня дискуссионна.
Я вел письма, правил опечатки.
Кто только в газету не писал
(графоманы, воины, девчата,
отставной начпрод Нравоучатов) —
я всему признательно внимал.
Мне писалось. Начались ученья.
Мчались дни.
Получились строчки о Шевченко,
Опубликовали. Вот они:

СКВОЗЬ СТРОЙ

И снится страшный сон Тарасу.
Кушищем воющего мяса
сквозь толпы, улицы,
 гримасы,
сквозь жизнь, под барабанный вой,
сквозь строй ведут его, сквозь строй!
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьет — самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:
Правофланговый бьет удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?
(Шпицрутен в правой, в левой — кукиш.)
За что вы столковались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли, —
сквозь сон он думал, — мелкота,
мне не простите никогда,
что вы бездарны и убоги,
вопит на снеговых заносах,
как сердце раненой страны,
мое в ударах и занозах
мясное
месиво
спины!

Все ваши боли вымещая,
эпохой сплюснутых калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю — в будущем, потом...»
.....
Удар. В лицо сапог. Подъем.



Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноет — спасу нет!

Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —

мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схожим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон

за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужю,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны.

Застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха
быть органом стыда.

ЗАБАСТОВКА СТРИПТИЗА

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие — в тулупах, джинсах.
«Черта в ступе!
Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?
Держи штрейкбрехершу!

Под паранджою чинарь запаливают,
а та на рожу чулок напяливает.

Ку-ку, трудящиеся эстрады!
Вот ветеранка в облезлом страусе,
едва за тридцать — в тираж пора:
«Ура, сестрички,
качем права!»

Соцстрахование, процент с оваций
и пенсий ранних — как в авиации...»

«А производственные простуды?»
Стриптиз бастует.
«А факты творческого зажима?
Не обнажимся!»

Полчеловечества вопит рыдания:
«Не обнажимся.
Мы — солидарные!»

Полы зашивши
(«Не обнажимся!»)
в пальто к супругу
жена ложится.

Лежит, стервоза,
и издевается:
«Мол, кошки тоже
не раздеваются...»

А оперируемая санитару:
«Сквозь платье режьте — я солидарна!»
«Мы не позируем», —
вопят модели.

«Пойдем поэ́рим,
на Венеру на́дели
синенький халатик в горошек, с коротенькими
рукавами!..»

Мир юркнул в раковину.

Бабочки, сложив крылышки, бешено
заматывались в куколки.

Церковный догматик заклеивал тряпочками
нагие чресла Сикстинской капеллы,
штопором он пытался
вытащить пуп из микеланджеловского
Адама.

Первому человеку пуп не положен!

Весна бастует. Бастуют завязи.

Спустился четкий железный
занавес.

Бастует там истина.

Нагая издавна,
она не издана, а если издана,
то в ста обложках под фразой фиговой —
попробуй выковырь!

Земля покрыта асфальтом города.
Мир хочет голого,

голого,

голого.

У мира дьявольский аппетит.

Стриптиз бастует. Он победит!

НОВОГОДНИЕ РАЛЛИ-СТОП

Пл. Маяковского. 3 ч. дня.
Ты в четырех машинах впереди меня.
Волга. Москвич. Рафик.
Красный зад с табличкою «проба».
Трафик.
Пробка.

Постовой с микрофоном —
как эстрадный трагик.
Шепот. Робкое дыхание. Трели соловья.
Сопот. Ропот. Долуханова.
Ты в трех машинах впереди меня.
Трафик.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-ре —
100 ре-ТВ-домино-сын в МИСИ-неси 100 ре.

Три часа до Нового года.
Пл. Пушкина. Нет обгона.
Пушкин. Фет. Барков. Переделков. Упаковкин.
Нет парковки.
Пробка.
Исторический график:
Людовики — 7-й, 8-й, 8^{1/2}, 18-й, до черта графов.

Твои любовники — Владлен 3-й, Владлен 4-й,
Владлен 5-й,

Рафик.
Мне плохо.
График.
Пробка.

Мысли:
не завелись бы в кардане мыши.

2 часа до Нового года.
Пл. Маяковского. Капоты, капоты —
теснее, чем клавиши
или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крепость, авторакетка.
Ловушка!
Кого боится Вирджиния Вульф?
Всех, кто сядет впервые за руль.

Старушка пешком обгоняет вас
со скоростью 100 км в час.
По тротуарам несутся ночные ковбои
с единственной мыслью: кого бы?

Шкоды! Пошехония!
Пора ограничить скорость пешеходов.
Или ввести единую.
 $\frac{1}{2}$ часа до Нового года.
Ты в двух машинах впереди меня.
О, вечный зад с табличкою «проба»!
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА,
ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК
НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФРАНС.

Т Е Л Е Г Р А М М А:

МОСКВА.

МФ-07-02.

Р-Н ОТ КОЛЬЦА ДО ДИНАМО.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.

АЭРОДРОМОВОЙ =

= МОЯ ПРЕДАННАЯ РОМАН МОЙ БЕЗ ТЕБЯ

ТОСКА ТЧК

Я НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЗПТ ВСЕ В ЛОСК ВОСКЛ =

*Одинокий мужчина
меняет машину
в центре Пушкинской площади
на Жигули той же площади,
но в районе Крымского моста*

Твоя машина пуста.

Я тоскую по сильным глаголам —
жить — думать — дышать — мчать, —
как форвард тоскует по голу,
когда окончился матч.

Догнать — обернуться — увидеть —
вернуться — себя подарить —
нарушить — возненавидеть —
разбиться — и благодарить —

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
— умчать тебя к Новому году —
Ты во всех машинах впереди меня.

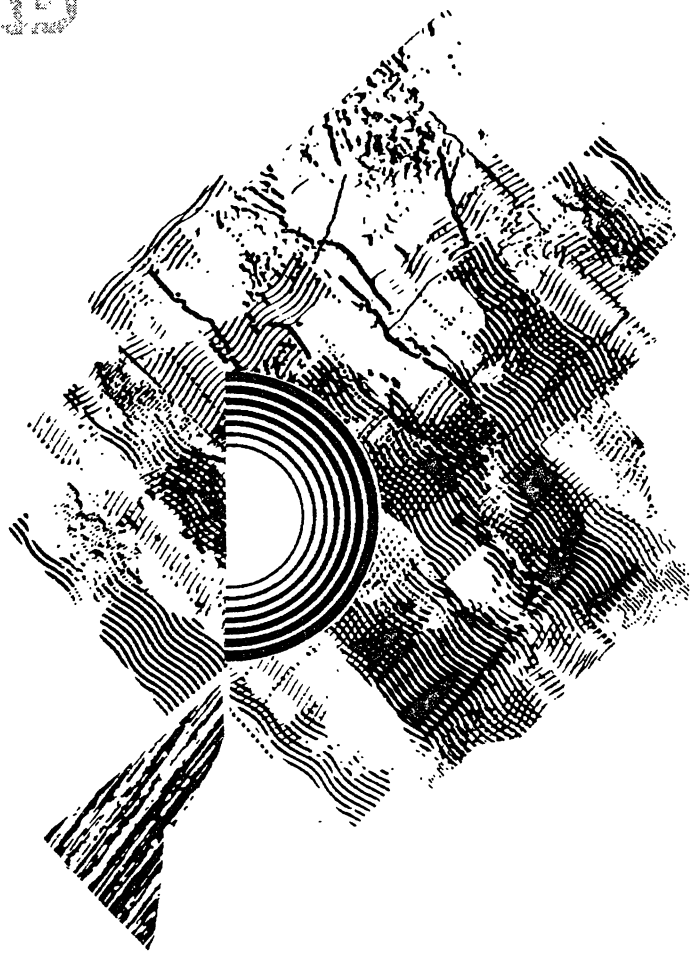
Нарушу.

Эй, выйдемте все из панцирей и из капотов
и из зада с табличкою «проба».

Наружу!

Шампанского!!
С Новым годом!!!
Пробка!

10



ПАМЯТНИК

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.

Счета его оплачиваю.

Врагов его казню.

Они с детьми своими
по тыще раз на дню

его повторят имя.

От Волги по Юкон

пусть будет знаменито,

как, цокнув языком,

любил он землянику.

Он для меня как бог.

По своему подобию
слепил меня, как мог,

и дал свои надбровья.

Он жил мужским трудом,

в свет превращая воду,

считая, что притом

хлеб будет и свобода.

Я памятник отцу,

Андрею Николаевичу,

сам в форме отточу,

сам рядом врую лавочку.

Чтоб кто-то век спустя

с сиренью индевеющей

нашел плиту «б а»
на старом Новодевичьем.
Согбенная юдоль.
Угрюмое свечение.
Забвенною водой
набух костюм вечерний.
В душе открылась течь. И утешаться нечем.
Прости меня, отец,
что памятник не вечен.

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу
и жребием своим
вмещаю ипостась,
что не досталась кладбищу, —
Отец — Дух — Сын.

МАТЬ

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину.

Воробышко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна,
урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкой
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки,
коммунальные ссоры утешали своей
беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телику:
«Чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку...»

Назовите по имени веру женскую,
независимую пустынную —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.

НОЧЬ

Выйдешь —
дивно!..
Свистязь
видно.

ОЗЕРО СВИТЯЗЬ

Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро — спасение
тем, кто тоскуют или тонут.

А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.

Наверное, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный —
все ожидаешь, что окликнут.

Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —
дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.

Все течет. Все изменяется.

Одно переходит в другое.

Квадраты расползаются в эллипсы.

Никелированные спинки кроватей текут, как разварившиеся макароны. Решетки тюрем свисают, как кренделя или аксельбанты.

Генри Мур, краснощекий английский ваятель, носился по биллиардному сукну своих подстриженных газонов.

Как шары, блистали скульптуры, но они то расплывались, как флюс, то принимали изящные очертания тазобедренных суставов.

«Остановитесь! — вопил Мур. — Вы прекрасны!..» — Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца. Черный и оранжевый. Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку на плоскогубцы, поставленные на попа.

Но-о ужас! На оранжевой спине угрожающе проступили черные пятна.

Просачивание началось. Изловчившись, оранжевый крутил ухо соперника и сам выл от боли — это было его собственное ухо.

Оно перетекло к противнику.

Букашкина выпустили.

Он вернулся было в бухгалтерию, но не смог ее обнаружить, она, реорганизуясь, принимала новые формы.

Дома он не нашел спичек. Спустился ниже этажом. Одолжить.

В чужой постели колыхалась мадам Букашкина. «Ты как здесь?» «Сама не знаю — наверно, протекла через потолок». Вероятно, это было правдой. Потому, что на ее разомлевшей коже, как на разогревшемся асфальте, отпечаталась чья-то пятерня с перстнем. И почему-то ступня.

Вождь племени Игого-жо искал новые формы перехода от феодализма к капитализму.

Все текло вниз, к одному уровню, уровню моря.

Обезумевший скульптор носился, лепил, придавая предметам одному ему понятные идеальные очертания, но едва вещи освобождались от его пальцев, как они возвращались к прежним формам, подобно тому, как расправляются грелки или резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем, как ферма
по колено в воде.

«Вверх — вниз!»

Он вздымался, как помпа насоса.

«Вверх — вниз».

Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных детям».

Но места переместились и стали доступными.

«Вверх — вниз».

Фразы бессильны. Слова слиплись в одну фразу.

Согласные растворились.

Остались одни гласные.

«Оауу аоии оааоиаые!..»

Это уже кричу я.

Меня будят. Суют под мышку ледяной градусник.

Я с ужасом гляжу на потолок.

Он квадратный.

ПЕСНЯ

Мой моряк, мой супруг незаконный!
Я умоляю тебя и клянусь —
сколько угодно целуй незнакомок.
Всех полюби. Но не надо одну.

Это несется в моих телеграммах,
стонем пронзит за страну страну.
Сколько угодно гости в этих странах.
Все полюби. Но не надо одну.

Милый моряк, нагуляешься — свистни.
В сладком плену или идя ко дну,
сколько угодно шути своей жизнью!
Не погуби только нашу — одну.

ПИР

(Стихи для детей)

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,

жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас скушай».

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда...



Это было в марте, в вербном шевелении.
«Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.
Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Голым благовещеньем с глазами янтарными
первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,
Буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу немислимом, схваченная платьем,
встану с коромыслом — молодым распятьем!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.
Я тебя простила, слепой священник.

Как отвратен в инее город вермишелевый...
Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.
Врежется в плечо мое перстень твой эмалевый.

«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во взорах...»
Содрогнулось чудище темного собора.

ЗОВ ОЗЕРА

Памяти жертв фашизма

ПЕВЗNER 1903. СЕРГЕЕВ 1934. ЛЕБЕДЕВ 1916.
БИРМАИ 1938, БИРМАИ 1941. ДРОБОТ 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
заывает на славный клев,
только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —
а по рылу — могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живую водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

«Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»

Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.

И к нему
Является
Рыба
Чудо-юдо озерных вод!

«Рыба,
 летучая рыба,
 с огневым лицом мадонны,
 с плавниками белыми
 как свистят паровозы,
 рыба,
Рива тебя звали,
 золотая Рива,
 Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
 колючки проволоки или рыболовным крючком
 в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
 прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.

**Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.**

ЛЕБЕДЕВ 1916, БИРМАН 1941, РУМЕР 1902,
БОЙКО ОБА 1933.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Г. Джагарову

«По деревне янычары детей отбирают...»

Болгарская народная песня

Пой, Георгий, прошлое болит,
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар,
не свои ль сжигаешь алтари,
где чужие — можешь различать,
но не понимаешь, где свои.

Безобразя рощи и ручьи,
человеком сделавши на миг,

кто меня, Георгий, отлучил
от древесных родичей моих?

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

1968

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ

Ресторан качается, точно пароход,
а он свою любимую
замуж выдает.

Будем супермены.
Сядем визави.
Разве современно
женится по любви?

Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроется —
двинемся в мотель.

«Ты поправь, любимая,
трефовый парик.
Ты разлей рябиновку
ровно на троих.

Будет все, как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,

выходя, поглубже
капюшон надвинешь,

может, не разлюбишь,
но возненавидишь?..»

«Сани расписные», —
стонет шансонье.

Вот они отъедут —
расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, скот, любимую
замуж выдаешь?»

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен
на стенных часах над рынком
баба вывела: «Ремонт»,
снявши стрелки для починки.

Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,

В самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит Да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Что-то там довинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого
сражения.*

*Полагаю также, что наступил момент произвести
девальвацию минуты.*

*Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда
соответственно количество часов в сутках
увеличится,
возрастет производительность труда,
а в оставшееся время мы сможем петь...*

Время остановилось,
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновение, не слишком ли ты
подзатянулось?

*Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся
обеденный
перерыв,
которые едят в счет 1980 года,
вам говорю я:*

«Вы временны».
*Конторские и конвейерные,
чья жизнь изнурительный производственный
ритм,
вам говорю я:
«Временно это».*

*Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша со скоростью
270 км/никогда,
вам говорю я:*

*увы, и вы временны...
«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже продолбил
клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино «пусто-
один» — «до-до-до»...*

*Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты
подзатянулось?*

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все — второисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожметя?
Если человеческое —
значит, приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт!

ОБЩИЙ ПЛЯЖ № 2

По министрам, по актерам,
желтой пяткою своей
солнце жарит
 полотером
по паркету из людей!

Пляж, пляж —
хоть стоймя, но все же ляжь.

Ноги, прелести творенья,
этажами — как поленья.
Уплотненность, как в аду.
Мир в трехтысячном году.

Карты, руки, клочья кожи —
как же я тебя найду?
В середине зонт, похожий
на подводную звезду, —
8 спин, ног 8 пар.
Упоительный поп-арт!

*Пляж, пляж,
где работают лежа,
 а филонят стоя,
где маскируются, раздеваясь,*

где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —
«От горизонта одного — к горизонту

многих...»

«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?

Размер 37... Обменяли...»

«Как же, вот сейчас видала —
в облачках она витала.

Пара крылышков на ей,
как подвязочки!

Только уточняю: номер 38 $1/2$...»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолженье
той божественной ступни.
Пошевеливает Время
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,
между водами и сушей,
между многими и мной;
между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

И уже из небосвода
что-то возвращалось к нам
вроде бога и природы
и хождения по водам.

Понятно, бог был невидим.

Только треугольная чайка

замерла в центре неба,

белая и тяжело дышащая, —

как белые плавки бога...

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.

Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшную зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту.
Внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежедневно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

ОЗЕРО

Кто ты — непознанный Бог
или природа по Дарвину —
но я по сравненью с Тобой,
как я бездарен!

Озера тайный овал
высветлит в утренней просеке
то, что мой предок назвал
кодом нечаянным: «Господи...»

Господи, это же ты!
Вижу как будто впервые
озеро красоты
русской периферии.

Господи, это же ты
вместо исповедальни
горбишься у воды
старой скамейкой цимбальной.

Будто впервые к воде
выйду, кустарник отрину,
вместо молитвы Тебе
я расскажу про актрису.

Дом, где родилась она, —
между собором и баром...
Как ты одарена,
как твой сценарий бездарен!

Долго не знал о тебе.
Вдруг в захолустнейшем поезде
ты обернешься в купе:
Господи...

Господи, это же ты...
Помнишь, перевернулись
возле Алма-Аты?
Только сейчас обернулись.

Это впервые со мной,
это впервые,
будто от жизни самой
был на периферии.

Годы. Темнóты. Мосты.
И осознать в перерыве:
Господи — это же ты!
Это — впервые.

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что оставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскую рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба! —
Голая богиня.

РЕКВИЕМ

Возложите на море венки.
Есть такой человеческий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколениям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

ИЗ ТАШКЕНТСКОГО РЕПОРТАЖА

Помогите Ташкенту!

Озверевшим штакетником
вмята женщина в стенку.

Помогите Ташкенту!

Если лес — помоги,
если хлеб — помоги,
если есть — помоги,
если нет — помоги!

Ты рожаеть, Земля.
Говорят, здесь красивые горные встанут
массивы.

Но настолько ль красиво,
чтоб живых раскрошило?

На руинах, как боль,
слышны аплодисменты —
ловит девочка моль.

Помогите Ташкенту!

Сад над адом. Вы как?
Колоннада откушена.
Будто кукиш векам,
над бульваром свисает пол-Пушкина.

Выживаем назло
сверхтолчкам хамоватым.
Как тебя натрясло,
белый домик Ахматовой!

Есть кровь — помогите,
есть кров — помогите,
где боль — помогите,
собой — помогите!

Возвращаю билеты.
Разве мыслимо бегство
от твоих заболевших,
карих, бедственных!

Разве важно, с кем жили?
Кого вызволишь — важно.
До спасенья — чужие,
лишь спасенные — ваши.

Я читаю тебе
в сумасшедшей печали.
Я читаю Беде,
чтоб хоть чуть полегчало.

Как шатает наш дом.
(Как ты? цела ли? не поцарапало? пытаюсь
дозвониться... тщетно...)
Зарифмую потом.
Помогите Ташкенту!

Инженер — помогите.
Женщина — помогите.
Понежней помогите —
город на динамите.

Мэры, звезды, студенты,
липы, возчицы хлеба
дышат в общее небо.
Не будите Ташкента.

Как далось это необыкновенно недешево.
Нету крыш. Только небо.
Нету крыши надежнее.

(Ну а вы вне Беды?
Погодите закусывать кетой.
Будьте так же чисты.
Помогите Ташкенту.
Ах, Клубок Литтантантулов,
не устали делить монументы?

Напишите талантливо.
Помогите Ташкенту.)
... Куклы под сапогами.
Помогите Ташкенту,
как он вам помогает
стать собой.

Он — Анкета.

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
последегрозные сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»



Да здравствуют прогулки в полвторого,
проселочная лунная дорога,
седые и сухие от мороза
розы черные коровьего навоза!



Нас посещает в срок —
уже не отшучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела,
идет какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень,
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть
ведет болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть
под графоманство чувств.



На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа ее бежит отчаянно.

ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
с силой в легкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,
не сестрою, а женою милосердия
душу всю ему до доньшка дает —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыханья создает.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотой.
А везти его до Кировских ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
Синий взгляд как пробка вылетит из-под
век, и легкие вздохнут, как шар летательный.

Преодолевается летальный
исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
Пусть в глазах твоих
 мной вдутый небосвод.
Пусть отдашь мое дыхание кому-то
рот в рот...»

ИСПОВЕДЬ

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылез из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

ОДА ДУБУ

Свитезианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись лиственнно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
Екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и.о.лосося,

оса, желтая, как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!

Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,
исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дороге
великую.

Как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,

между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему —
исполать.
Все репутации подмочены.
Треши,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
 точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
меня косили наповал.

И, точно тенор — анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

НЕ ЗАБУДЬ

(Стихи для детей)

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался как рыцарь
государственной границей.

И, качая головой,
надевает шар земной.

Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
он вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машины, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»



Знай свое место, красивая рвань,
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань,
знай свое место.

Я безобразить тебя запретил.
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил.
Знай свое место.



Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна,
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.



Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
Колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдет в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колят верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевернутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят как летучие мыши
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

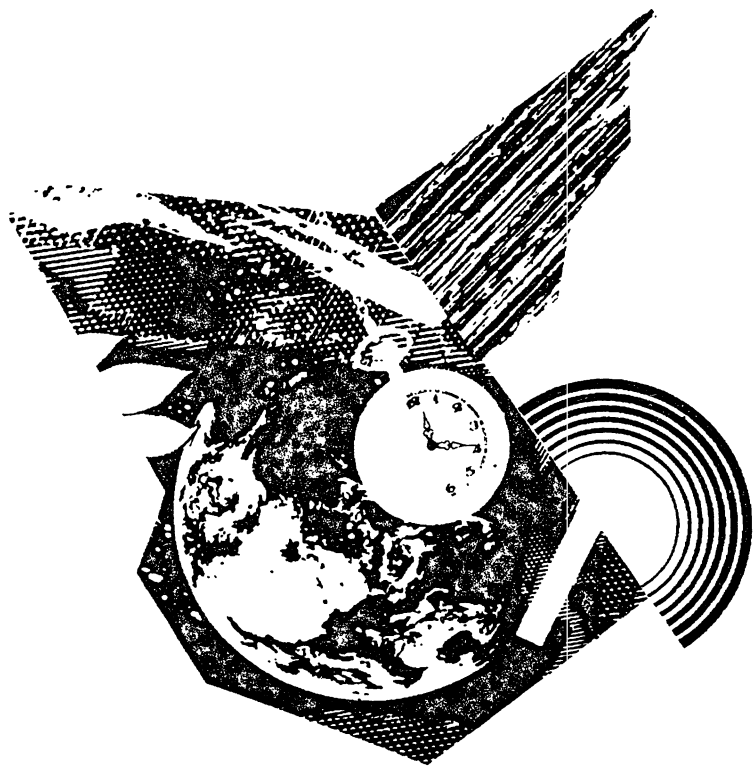
Нам рукою помашет хиппи.
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь, и в Тебе царапнется шиповник...
И — больше ничего.

AB



СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье
и начал сначала!

Начните с беславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.

Нужно, как Брумель, начать с
«ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру —
выпустишь птицу.

Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая
четвертная —

«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночную оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,

пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца,
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

ПЕСНЯ ВЕЧЕРНЯЯ

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.

Ты молилась ли на ночь, осина?
Труд твой будет обильный.
Ты молилась, Россия?
Как тебя мы любили!

СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.



На суде, в раю или в аду,
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнет на черный шпингалет.



В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Деваносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

ФИАЛКИ

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.

Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Мир — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?

У бога ответов много,
но главный: «Идите к богу!»...

... Боги имеют хобби —
уставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!

А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отщучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!» —
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
подглядывать
в дырочку от гвоздя».

ПЕСЧАНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
(Стихи для детей)

Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.

Подбегает он к Москве —
остается ЧЕЛОВЕ...

Губы радостно свело —
остается лишь ЧЕЛО...

Майка виснет на плече —
от него осталось ЧЕ...

.

Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

СКУКА

Скука — это пост души,
когда жизненные соки
помышляют о высоком.
Искушеньем не греши.

Скука — это пост души,
это одинокий ужин,
скучны вражьи кутежи,
и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна.
Скучно рифмочек настырных.
И любимая скучна,
словно гладь по-монастырски.

Скука — кладбище души,
ни печали, ни восторга,
все трефовые тузы
распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота...
Скука создавала Кука,
край любезнейший когда
опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших.
Все духовное уже
отдыхает, как кишечник.

Ах, какой ты был гурман!
Боль примешивал, как соус,
в очарованный роман,
аж посасывала совесть...

Хохмой вывернуть тоску?
Может, кто откусит ухо?
Ку-ку!
Скука.

Помесь скуки мировой
с нашей скукой полосатой.
Плюнешь в зеркало — плевок
не достигнет адресата.

Скучно через полпрыжка
потолок достать рукою.
Скучно, свиснув с потолка,
не достать паркет ногою.



В. Шкловскому

— Мама, кто там сверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?

— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

ГОВОРIT МАМА

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.

В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски

выдавленным
голубым!

Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.

Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —

в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Игова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

НА ОЗЕРЕ

Прибегала в мой быт холостой,
задувала свечу, как служанка.
Было бешено хорошо
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра-
вствует бодрая температура!»
И на высохших после дождя
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю,
чтобы бритва тебе не жужжала.
Шнур протянется

в спальню твою.

Дело близилось к сентябрю.
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба,
что любовь — это самодержавье.
Моя шумная жизнь без тебя
не имеет уже содержанья.

Ощущение это прошло,
прошуршавши по саду ужами...
Несказаемо хорошо!
А задуматься — было ужасно.

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.



Ты поставила лучшие годы,
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
развели. Ты — лихой дуэлянт.

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу, как актер,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы — другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

АИСТЫ

В. Жаку

В гнезде, венчающем березу,
стояли аист с аистихою
над черным хутором бесхозным
бессмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чашею,
как указанье Вифлеема.
Две шеи выгнуты сладчайше.
Вот так змея стоит над чашею,
став медицинской эмблемой.

Но заколочено на годы
внизу хозяйское гнездовье.
Сруб сгнил. И аист без работы.
Ведь если награждать любовью,
то надо награждать — кого-то.

Я думаю, что Белоруссия
семей не возместила все еще.
Без них и птицы безоружные.
Вдруг и они без аистеньша?..

...Когда-нибудь, дождем накрытая,
здесь путница с пути собьется,

и от небесного события
под сердцем чудо в ней забьется.

Свое ощупывая тело,
как будто потеряла спички,
сияя, скажет: «Залетела.
Я принесу вам сына, птички».

СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живешь ты в мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И что-то расскажешь. А глаз твой агатист.
А гостя почувствовала, примолкла.
И долго еще твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — мое небо, и не по-
нимаю, как с гостьей тебя я мешаю.
Дай Бог тебе выжить, сестренка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.

Маяковский

Владимир Владимирович, разрешите представиться!
Я занимаюсь биологией стиха.

Есть роли

более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.

Другие, как страусы,

прячут головы,
отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве

Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним

сквозь стихи.

ОБСТАНОВКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.

Стол. Кент.
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю Беломор Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).
Тень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страданица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьет.) Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
Предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя тeneвая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ 14 созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

*(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)*

Вот ванная.
Что-то странное!

Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(*Стучит.*) Нет ответа.
(*От страшной догадки он делается неузнаваем.*)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(*Дверь высаживают.*)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИГУЛДУ

Отшельничаю, берложу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стреме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,
далекие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зерна в зеленой мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,

умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо,
как легкое озеро,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова как разминированная —
спасенная? спасительная!

ты младше меня? Старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трехлетняя
писает по биссектриске!

«мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,

и это круговращение
щемяще, как возвращенье...

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед улетает Сигулда,
как связка
 зеленых
 шаров!

ИЗ ПОЭМЫ
«АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ»

Как Россия ела! Семга розовела,
луковые стрелы, студень оробелый,

красная мадера в рюмке запотела,
в центре бычье тело корочкой хрустело, —

как Россия ела! — крабов каравеллы,
смена семь тарелок — все в один присест,

угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
Ева змея съела, яблочком заела,

а кругом сардели на фарфоре рдели,
узкие форели в масле еле-еле,

страстные, как свирели, царские форели,
стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,

мясо в центре пира, а кругом гарниры —
платья и мундиры, перси и ланиты,

а кругом гарниры — заливные нивы,
соловьи на ивах, странники гонимые,

а кругом гарниры — Господи, храни их! —
сонмы душ без имени:

 позабывши перст,

ест всеильный округ, а в окошках мокрых
вся Россия смотрит, как Россия ест.

ХОР НИМФ

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятая, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!
Я 45-я за 35-ми,
а Вы с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.

А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(Продолжение следует)



Поглядишь, как несметно
разрастается зло —
слава Богу, мы смертны,
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы
табунки васильков —
слава Богу, мы смертны,
не испортим всего.



Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты —
 как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. «Завещание»

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:
«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны витии,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!
Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!
Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.
Грешный дух мой бронирован в плоть,
безучастную, как камень.
Помоги мне подняться, господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»
Крик подземный глубин не потряс.
Двое выпили на могиле.
Любят похороны, дивясь,
детвора и чиновничий класс,

как вы любите слушать рассказ,
как Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

ВЕЧЕР
В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зеленая, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет?
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьем спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я — цвет ореховый,
вы скажете — гул ореха.
Я говорю — зеркало,
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
вам пудреница покажется
эмалевой панагией.

Пытаться читать стихи
в обществе слепых —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожею
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

И в вашем слепом обществе,
всевидящем, как Вишну,

вскричу, добредя ощупью:
Вижу!

зеленое зеленое зеленое
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо



Оправдываться — не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймет — что объяснять ему?
Душа ж все знает — что ей объяснять?

СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.



Для души, северянки покорной,
и не надобно лучшей из пищ.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку,
монастырскую горсточку птиц!



Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!



Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»



Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди — увы...

Почему два великих народа
холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны — увы...

Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
черт-те что натворившей Земли!



Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений,
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незначимы,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи,
а думать — кто купит? — бог упаси!

Хочу низложенья просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли обогреться с морозца
и исповеди испить.



Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.

Под навесом оргалита,
нажимая на педаль,
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобю передал.

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

AB



ЦИКЛАМЕНА

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена,

не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкою детского ротика
цветет целомудренная эротика.
Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

Цвети, цикламена!

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ПЛОХО»

— Кому жить плохо на Руси?

— Спроси!

— Колхозник, как надои кукурузы?

Колхозник: «Соловьи в ей свищут, как Карузы».

— Бабуся, а к тебе судьба добра ли?

Бабуся: «Спасибо, что козу не отобрали».

— Рабочий, с НТР условия легче стали?

Рабочий: «Легче выносить микродетали».

— Красотки, как мужик при полноте достатка?

Красотки: «Хорош, как к телевизору приставка».

— Писатели, что в вашем околотке?

Писатели: «Грызём друг другу глотки».

— Телятницы, а как приплод телятины?

Телятницы: «Зато поём талантливо!»

— А вы, солисты ГАБТ и телерадио?

Солисты: «Чистим на субботнике телятники».

— Профессор, как культура нрава?

Профессор: «Хиляем, нахалюги, на халяву».

— Христос, а ты доволен ли судьбою?

Христос: «С гвоздями перебой».

— Россия, что еще народу хочется?

РОССИЯ: «Когда же это кончится?..»

СИНИЙ ЖУРНАЛ

В. Быкову

Цвет новомировский,
с отсветом в хмарь —
неба нормированный
почтарь!

В ящик проглянет
неба прищур
этих без глянца
синих брошюр.

Метростарушка,
в лифте чудак
небом наружу
станут читать.

Не изменили
не отцвели,
цвет новомировский, —
читатели!

Цвет новомировский,
авторов цвет...
Жизни активованы.
Многих уж нет.

Все по России
носит почтарь
порции синего
с отсветом в хмарь.

Интеллигенция
встанет моя,
зябнув коленцами
после спанья.

Синей обложкой
внутри завернет,
будто из неба
сложив бутерброд.

В спешке кухонной
станем с тобой
пищей духовной,
пищей богов.

СОН

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устины,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба от глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету...»

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ КЛЮЧ

По гнущимся ступеням
к источнику, что снизу,
кто вывел автогеном
«Надежда» и «Лариса»?
Ах, женские ступени
и имя на плаву,
как в поминальном пенье
и в храме на полу.
Железа отсвет паюсный.
Вечерний водопой.
Надежда прогибается
под мною и тобой.
Ты туфли не из риска
снимаешь с каблуком —
чтоб ощутить Ларису,
ощупав босиком.
Плащ подвернув до «мини»,
нагнешься в темноте
и пальцем свое имя
напишешь на воде.
И озаренный инеем,
с твоей ладони пью
разбавленную именем
прощальную струю.

ЗА РЕЧКОЙ ПТИЧЬ

Е. Б.

Ты художник, Женя, художник ландшафта,
коров твоих 110 прошли ТО,
скачет на лугу твоём вишневая лошадка —
это все твое!

Дон Кихот, ты восстанавливаешь мельницу!
И устав от мерзости, послав всех на,
могилку рисуешь в саду, за ельничком.
«Мне здесь труп не нужен», — сказала жена.

А садовый сумрак съедает мелочи.
Женщины коричневые, как кисти беличьи,
набухают страстью, как краской кисти,
пора ими красить, чтобы не закисло!

Плотинку восстанавливаешь через Птичь
и этим устанавливаешь в сердце тишь.
Всего мы не объедем. Потом обедаем
твоими натюрмортами. Что за дичь,

что интеллигенты восстанавливают
сельхозяйство!
Ты сквозь разбой
сердцем расправляешь каждую козявочку.
Кто, Женя, восстановит нас с тобой?



Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью,
как «анти» превращается в античность.



Две чашки в сумерках белели —
как оттиск в гипсе молодом,
что вы оставили, миледи,
здесь, наклонившись над столом.

ЮЗ

Грузовики несутся юзом.

«Москвич» вмят в стенку,

словно туз.

Вопль моей музыки не для ТЮЗа.

Общественный и личный юз!

Не сладить тормозами с юзом.

Балет на льду — наш давний плюс.

Сагдеев, обхвативши Сюзан,

преодолеет запретов юз.

Несется памятник на пузе,

скользя по мрамору медуз.

Возможны страстные откусы.

Что ты наделала, Мисюсь?!

Кому-то флюс, кого-то сжали!

Ни Божьих, ни моральных уз.

Визг номеров

со всей державы —

юз, юз!

Когда же разобьюсь?

Эксюз ми, Воланд, сжавший рублик.

Всеобщий юз. Великий юз.

Со-юз.

Советских Социалистических Республик!

НЕБА БЫ...

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:
«С небом перебой.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну никакого,
нету неба бородинского!..»
«Тоже мне — князь Андрей».
«Гражданин, не надо диспутов!
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые
Ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать —
они будут затухать.
Опусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба нам насущного
отпустить могу вам смога.
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,
И без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы...
В мировой голубизне
строить общество без неба
нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету. Неба нет нигде.
А в авоське — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.
Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:
«Страна наша безнебесна.
Где работаешь, дебил?
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
У моста слепые требуют:
«Подайте неба, ради Христа».

Швейцар тебя учит совести,
и некуда тебе пожаловаться —
бездомны «Московские новости»,
затопленные пожарными.

Пока мы в домах с этажерками
и не струсилось неизбежное,
беженцам хоть рубль пожертвуйте!
Пока мы сами не беженцы.

РОССИЯ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В России нет очередей.
Народ добился, чародей.
А может, это не Россия?
Одни машины за бензином.
Иль нет в Отечестве людей,
чтоб постоять за апельсинами,
за сникерсами из резины?!
К Зосиме нет очередей,
засим преступник он, Зосима.
Один стою в ряду осинок.
И д е и нет в тоске полей,
и д е и нет в шоссе трассирующем,
и д е и нет в жилых массивах...
А вдруг и правда не Россия?
В посольства очередь за ксивой.
В Россию нет очередей.

ШЛО УБИЙСТВО

Шло убийство по шумной Битце,
шло, жуя пирожок незло.
Вы заказывали убийство?
Шло убийство. Убийство шло
сериалами голубыми.
В наших креслах от них светло.
Мы пришли по телам любимых
в эти кресла. Убийство шло.
Обожаю твой труп улыбочатый
и фасон а la НЛЮ.
К твоим карим идет убийство!
Верней, шло.

Войду в дом убиенный. Charming!
Никого. Дом усоп.
Я пощупаю лоб у чайника.
Он еще теплый, лоб.
Что сердечко твое измаяло —
кровь, любовь или страсть раскола?
«Катерина Измайлова» —
это «Манон» Лескова.

В нас мозги пожирают печень.
Певчий дар проклевал нутро.

В семьях праведных и беспечных,
словно газ из незримой печи,
что-то шло
из щелей. Потянуло кайфом.
Сын снял мать с гвоздя, как тулуп.
И любовник, выпав из шкафа,
оправдывается: «Я — труп!»

Вы заказывали клубничку?
Почему идем в шоубизнес?
Почему у нас трупные лица?
Почему мы *туда* хотим?
Даже повесть о самоубийце
называем: «Митин интим».

Шло счастливое наше детство.
Сквозь рыдания взрослых драм
мчался вспухнувший от младенцев
цилиндрический Иордан.
Как влюбленный в Леннона киллер,
запредельная страсть таится.
Пожалейте детишек хилых!
Они — маленькие убийцы.

Жизнь — природы интеллигенция.
Возвращенье к истокам шло,
возврат гения, извращенца,
во всеобщее большинство...

Я живу. Боюсь углубиться.
Я не знаю — кого? за что? —
но я знаю — идет убийство.
Верней, шло.



Родившиеся в хлеву —
необязательно коровы.
Христа, к примеру, назову.
И Блока с отблеском Авроры...

РАСПЯТИЕ**1**

В минуту сегодняшней скверны —
не плоскость с двухмерных холстов —
явился мне многомерный
Христос.

Шли муки, подобно мосту,
перпендикулярно кресту.

Распинали Его не в одной плоскости, тело Его
было раздираемо во все стороны, как стрелки
указателя на перекрестке дорог или тесовая
крестовина, в которую вставляют рождественскую
елку, так Его видели с неба.

И мук этих веерный вектор
сменил плоскостное бревно,
на Юг, Восток, Запад и Север
растягивали Его.

Мужчины, и бабы, и леди,
сменяющаяся толпа,
второе тысячелетье
мы тянем Его на себя.

И, как медицинские банки
иль тянет рогатку дитя,
вытягивались лопатки.
Мы тянем Его на себя.

Тянули Его вертолеты,
крюком за губу зацепя,
суда, уходящие в море,
тянули Его на себя,
и рокер в пылице желторотый,
и баба, от мужа уйдя.

Ступни Его вдовы доили,
впивалась в раскаянье бля,
тянула ладонь экстрасенса,
покойники в автомобиле
тянули Его на себя.

Будучи в состоянии шока, я не понимал смысла виденного, да и вряд ли запомнил все, мне было дано увидеть Его с точки зрения неба, но почему именно сейчас?

Когда распятие отвернулось от меня темным силуэтом, я увидел за ним толпу, вернее, лишь глаза, тыщи глаз, глядящих в упор, и в каждом зрачке

впечаталось по маленькому эмалевому кресту
вверх ногами, каждый дважды распинал Его в
собственных зрачках, тысячи маленьких Спасителей
глядели на меня.

2

И крест, разогнувшийся тайно
из молота и серпа,
голодной страны испытанья,
прервав Иоганна Себа-
стиана, гудят окаянно
бастующие таксисты
товарищу отпеванье.
И крови ждут ястреба.
Толпа, депутаты, путаны,
все тянут Его на себя.

Кто любит — сильнее тянули,
кто продал — тянули вдвойне,
тянули, кто в жизни тонули,
тянул, кто давно на дне.

Но главное — втягивал вакуум
души, что покинула нас,

чья тайна забыта за кваканьем.
Как тянет сейчас!

И вытянутое сердце,
где вздутые жил провода,
как третья ладонь, разжималось,
просило гвоздя.
Терновые новые ветки
Ты ставила, кровь соскребя.
Шипы двадцать первого века
тянули Его на себя.

3

«Прощаю, садисты невольные! —
я слышал. — Печаль утоли.
Страшней направление боли,
которое изнутри».

Не на деревяшках же Его распинали! — Поперечники
болевой энергии. Бруски беспредела. Растяжение
истории. Художники никогда не изображали
распятие в профиль, иначе бы им пришлось давать
поперечное сечение, где

ребра, как новые руки,
стояли креста поперек,
указывающие муки
не понятых нами дорог.

Летя над Ерусалимом,
я видел, что смертным нельзя,
над бьющимся компасом боли,
что видят лишь небеса.

Там ангел и клин журавлиный
кричат и отводят глаза.

Тащило бревно населенье,
как будто тараня бревно,
любя, мазохистски зверея,
к страданиям иных измерений,
что людям познать не дано.

Дальше не помню, не стирайте память, разум не
отнимите!

Меж толпами злых идиотов
я видел себя самого,

что натягивал на стадионы
перепонки ушные Его.

Ужель меж писательских профи
я был на Голгофе в бистро
потягивать черный свой кофе
из чашек коленных Его?!

«Прости, — повторяю над пропастью, —
незрячие годы мои,
что видел
в одной только плоскости
безмерные муки Твои».



Когда совсем уж плохо,
я не тревожу Бога,
не открываю Блока —
я уйду в дорогу.

И озарит из балки
заря необъяснимо
мне след от лыжной палки,
как ломтик апельсина.

МАЛЬЧИК СТЕКОЛ

Ни отец, ни мачеха
не приносят столько.
Восьмилетний мальчик,
мойщик стекол,
на углу у Пушкинской
вас без лишних стебов
трет душой опущенной
мальчик стекол.

Тряпка — как пропеллер.
Василек асфальта.
Маленький Рокфеллер.
Наш. Не свалит.
Наглый ангел явочный,
сколько стоишь ты,
бледная пиявочка
нашей чистоты?

Выхлопы токсичные
в легких черным текстом
высветят: «Спасибочко,
... .. ,
за наше счастливое детство».

Сколько б ни катили вы
с женами и с телками,
сколько б ни отстегивали,
вас настигнет мальчик. Красный светофор.
Спряя одуванчик
плюнет вам в упор.

Красный отсвет плавает.
И нельзя назад.
Мальчики кровавые
и девочки в глазах.

ГРИБНИЦА

— Мы — не люди, грибные мутанты,
мы — туманты.
Гуманизма исчезнувший мамонт
потоптал нашу честную маму.
Мы — to-nighty.

Меломаны, в скрипичные такты
на ушах мы вползаем, как танки,
хохматанты,
мы — тьмутараканты.

Детки смотрят в подъездах мультяшки.
Жизнь смутьянов охомутила,
откусивши язык Эзопов,
нынче в душах, как из сексшопов,
вылезают грибные мутанты.

Двухголовый пацан веселится,
и летит двухголовая птица,
все кодируют наши грибницы.
И, мыча, демонстрируют люди
две души, словно женские груди.
Жизнь удачная — только мудачная.
Мы проходим муки мутации.

И когда ты путанкою тычешься,
черный рыжик с подкраскою панка,
по губам твоим наркотическим
понимаю — грибная мутантка!

Но ночами с балкона подолгу
глядя в необъяснимую высь,
ты читаешь свое подобье
в шевеленье Небесных грибниц...

И когда нас земля поглотит
в чрево Данте,
долго будет планету мутить.
Мы — мутанты...

А. МЕНЬ

1

Кто поднял топор на священника?
Кто шел за ним в раннюю стынь?
И как найти в сердце прощение
тому, что сейчас творим?
Кто поднял топор на священника,
тот проклял себя. Аминь.

Неужто страна в деградации
болеет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца ежечасно
смягчал. Темны времена.
Убитый домой стучался.
Его не узнала жена.
Накрыла его безучастная
сусальная простыня.

С его позвонками шейными
диспут провел топор.
Страна, убивая священников,
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой
с Тарковским были близки,
пятьсот пятьдесят четвертой
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах
пятьсот пятьдесят четвертой.
На панихиде твоей
от имени нашей школы
зажгу тебе свечку скорбную,
опальный протоиерей.

Приход посреди России.
Афганцы. Маковок синь.
И девушка вслед литургии
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском
над утренней нашей тропой
с космической достоверностью
предсказанный Достоевским,
как спутник, летит топор.

2

Прокатилось до Армении от московских деревень:
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень —
нем».

*Новая Деревня
Храм Сретенья
10.IX.90*

ЛИЗА ОМОНА

В лесу твое тело пятнисто-лимонно —
в солнечных зайчиках, в тенях от листьев.
Тебя называю я Лиза ОМОНА,
ОМОНА Лиза.

После дождя, близорукая рощица,
как ты искала контактные линзы!
И жизнь закружилась, сперва понарошку,
под кодовой шуткой — «ОМОНА Лиза».

Губы сжимая, улыбку змеила,
в рот набирая холодную «Плиску».
Близко склонялась, собою поила —
плиз! —
обожаю ОМОНА Лизу.

Ты просыпаешься только к закату.
Тебе наплевать на лимоны Мамоны!
Лучшие мэны не вскрыли загадку.
Мафия сматывает знамена.

Знаешь, мне кажется, если спуститься
к нашим ручьям, только щеки омою —
столб закружится из листьев пятнистых.
Ты маскируешься, Лиза ОМОНА.

Панка пятнистая, зайчики пяток.
Где тебя кружит? Выбила ль визу?
Страны какие приводишь в порядок,
ОМОНА Лиза?

**РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ**

Ей несут, интересничая,
похоронные ленты.
Антиинтеллигенция,
а не интеллигенты.
Антиинтеллигенция,
а не Хлебников Витенька,
озверев, верховенствовала
на расстрелах и митингах.
Эти «антиллигэнты»,
как себя они чествовали,
вытравливали в нас гены
Лобачевского, Чехова.
Недоучки взрывают.
Богом призванный строит.
Гений пишет алфавит
не чужой — своей кровью.
Среди наций телесных
наш единственный признак —
русской интеллигенции
исчезающий призрак.
Пред судьбой ее шаткой,
что сейчас тает с голоду,
я сниму свою шапку,
слава Богу, не голову.

Соглашусь с телецентрами:
твикс — куда искусительней!..
Но без интеллигенции
нет России.



Куплю Макарова.
Пойду пострелять в лесок.
Попал березе под сосок.
И долго эхо не смолкало.
Нахалка крыльями махала.

Я бросил в озеро Макарова.
И глянул сверху в озеро —
пошли круги, круги мишени,
и окружали отраженья.
И в центре их — мое лицо.
Бежать от этого макабра!

Почему я не подсуетился,
чтоб уехать из этих лет?
Не по зову патриотизма.
Дорога цена за билет.

От разваливающегося Блаженного
как уеду?
Пусть стреляют на поражение.
В поражении здесь — победа.

ГАРЬ

Гарь, гарь, гарь...
Над страной — карр! карр!
За стеной: «Дай, Галь...»

Запаркуй кар.
Стол. Хмарь харь.
На душе гарь.

Подгорел сухарь?
Или жгут орех?
Гарь, гарь, гарь —
это пахнет грех.

Едкий вкус дымка,
перегрев ТВ?
Или же река
курит в рукаве?

Пей или ругай —
но, в сознание всех —
гарь, гарь, гарь.
Это пахнет грех.

Угорелые народы.
Угорелая свобода.
Некуда открыть окно.



ПАМЯТИ ДИМЫ ХОЛОДОВА

Очертят круг прожектора
мемориальной ватрушкой.
— Кого хоронишь ты, Москва?
— Нового русского.

Прикрывши простынею лик,
лежит неврущий
обманутый идеалист —
новейший русский.

На место Сахарова лег.
Кто музыканты?
Упокой его душу, Бог.
Место вакантно.

ДРУГУ

Твои вздохи нечисты,
у тебя в душе глисты.
Меня трижды продал ты.
Твоей мукою унылой
окисляются кресты.
Похристосуемся, милый.
Прости.



Пусть жизни пролито полчаши.
Дай им отпить. Не уходи.
Избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной глухоты.

Хоть люди не прощают это,
но сердцу зрячему в награду
тебе из пачки сигаретной
сыграют трубочки органа.

В мученьях дней, в печатных ралли
сентиментальной лимиты
избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной пустоты.

ЗЕЛЕНАЯ БАЛЛАДА

Твои глаза зеленые — как вино,
желанье затаенное на дне одно —
новый секс у всех в голове:
«Как найти в Москве
СКВ?»

Не Массне доносится из кафе —
«Как найти в Москве
СКВ?»

Школьница выходит в полночный скве... —
... ..
... ?

Над зеленым куполом реет стяг.
Ты куда стремишь нас, Тверская-стрит?
И зелено-бронзовый, как доллар смят,
Пушкин за Макдональдсом стоит.

Я разорван псами, в зеленке весь.
И твоя косметика зелена.
От границ с анашой до границ Норд-Вест
зеленеет наша страна.

А в отеле
вечная картина Саврасова:
«СКВ прилетели!»

Как найти сквозь заставшую взор листву
твое бело-розовое «ау»?
И тоскует мысль в голове:
«КАК НАЙТИ МОСКВУ
В СКВ?»

БУЛЬВАР

Я корчил галантную рожу
и, как подобало годам,
прощальную белую розу
бросал к Твоим спелым ногам.

Ты стала красивей и строже.
Весь в складках, с отвисшей губой,
бульдог, словно белая роза,
влюбленно идет пред Тобой.

Темнеет. Мы жили убого.
Но пара незначущих фраз,
но белая роза бульдога,
но Бога присутствие в нас...



Не разлюбите без взаимности!
Еще вас любят по инерции.
Но телефон уже с заминкою,
самой вам этому не верится.
И в шарфе афтершейв жасминовый
висит в шкафу и не выветривается.

Не позабудьте без взаимности,
в себе на ключик запирайте
провинциальную гостиницу
с сухими иглами в кровати,
где совы ухают совминовские,
ваш шарф, продлив полоску Млечную,
от подоконника до плинтуса
бежит дорогой подвенечною,
вы в нем всегда, как под инъекцией, —
красивая — глазам не вынести!

Не девственница книги Гиннеса,
но и не ветреница,
не напивайтесь без взаимности
с ним и счастливою соперницей.
Ну, хоть бы ненависть взаимную!

Не изменяйте без взаимности
себе. Взаимности добейтесь.
Верните его в ту гостиницу.
Когда же он наивно двинется —
тарелки об него разбейте,
пусть брызнут батарейки Сименса!
Набейте морду без взаимности.
А так — не вынести.

В СКЛИФЕ

В какие нас бездны сбрасывают
написанные от руки
Свобода, Равенство, Братство,
где вместо запятых — курки?

И тенью от Белого дома,
как выел пятно купорос,
с газет поднимают ладони
пробелы цензурных полос.

И русский под дулами русскими
к стенке лицом встает,
прижат, как дверная ручка...
Куда эта дверь ведет?

Там раненый на хирурга
хрипит, без наркоза стерпя:
«А ты за кого, херуга?!»
— Дурак, за тебя.

В палаты там прут с автоматами.
Сестричкам грозит самосуд.
И банки отнюдь не с томатами
оглохшие бабки несут.

Бреду меж кровавых носилок
Там, в сырости здания,
я чувствую третью силу.
Она — сострадание.

На койках соседних в больнице
вдруг мой одноразовый шприц
вернет к человеческой жизни
и жертв и невинных убийц?..

4 октября 1993 г.

ЗЕВАКА

Я — Москва — зевака,
снайперов мишень.
Нас с моста эвакуируют
взашей.
Все, как у «Живаго».
Без Христа страшней.

На витринах Снайдерсы,
а в кармане — вакуум.
Сникерсы и снайперы.
Что-то рядом звякнуло.
Что-то рядом просвистело.
Интересное кино.
Где-то бродит мое тело?
А душе не все ль равно?

Мы — случайные мишени,
мы зеваки, я и ты,
в нас постыдное смешенье
любопытства и беды.
Позабыв хохмить и охать,
я гляжу на Белый дом,
почерневший, словно ноготь
от удара молотком.

Что-то сердце хватануло.
Я гляжу позор страны,
как вверху клавиатуры
стали клавиши черны.

А на улице Неждановой,
где ходил я час назад,
разбросав стекло несданное,
три застреленных лежат.

5 октября 1994 г.



Тот — в Склифосовке,
вскрыт философски.
Тот — в трепанации
от трепа нации.

ПЕРЕХОД

За что мне этот переход?
Я в подсознание Москвы
спустился в судьбы и мослы,
где каждый душу продает.
Я к Склифосовке в переход
от бешенства шел на укол.
И каждый, кто сюда пришел,
как урка, клал кишки на стол.

Кто лез из «Вольвы» наверху,
свою здесь нюхал требуху.
И женщина под общий смех
рожала на виду у всех.

Не из протеста — от тоски,
носки развесив, как беду,
народ кладет свои кишки,
когда совсем не вмоготу.
Господь нас превратил в господ.
На что нам этот переход?

Был скоточеловекобог,
стал богочеловекоскот.
Телка, слаба на передок,
несла для пыток утюжок.

Криминогенная пила
лежала тенью от Кремля.

Была опасной колбаса —
колба из пса.
И целлофан вместо гробов
искали толпы мертвецов.
Лишась бердяевских примет,
наш Дух переходил в Предмет.

Инстинкт пластинками синел.
Печаль садилась на шинель.
Мысль разносила менингит.
Стаканы мутны от идей.
Им было больно ими быть,
не быть было еще больней.

Безвыходно в стране той жить,
безвыходно расстаться с ней.
И было стыдно здешним быть,
не быть было еще стыдней.
Шинель надета на гуру.
И беспредел смердел в углу.

Я торопился на иглу.

Вязали бешенство в мешок.
Сажали душу на горшок.
Над городом зиял Гор-шок.
России расширялся шов
в душе и через потолок.

Дай передыха, переход!
С клочка газеты «Эрих Хон...»
порошковая душа
жалась в банке алкаша.

Он пред собой сгребал, как краб,
свой прожитый грошовый скарб.
Лежал, как лилипута скальп,
презерватив — пупок любви.
Хичкок.
Я отдал бы кишки свои,
чтобы не видеть их кишок!
Но прорастала сквозь меня
щетина псиная моя.
Рехнувшийся чертополох,
стояла Ты на четырех.
Были похожи на Твои
пульсирующие мозги

под злыми мухами Москвы —
Твой смех, как боль наоборот...

За что нам этот переход?
За что всеобщий этот шок
души на уровне кишок?
За что, тушитель, нас поджег?
Россия пьет на посошок.

От Склифосовки в переход
спустился я, как Геродот.
Там скифы с болью в голове
спрашивали СКВ.

И человек-переходник,
в себя воткнувши вилку, вник
во все проблемы. И ходил,
как поршень, певческий кадык.
Фундамент Сухаревки был
здесь рядом. Но я все забыл.
И я завыл:

*«Спой, переходная душа,
что похеровее.»*

*В нас хлещет время, как в дурилаг.
Мы переходные.
Без берегов капитализм —
даль переходная,
пути, что «Хондами» неслись,
все перекопаны.*

*Пить из Медведицы ковша
водопроводную
не искушай меня, душа.
Мы — переходные.
Убийство стоит 40 тыщ.
(Программа «Новости».)
Мы — переходные, малыши,
от срама к совести...»*

*Я в Склифософский переход
спустился, как в святой приход.
Куда уходим? Что нас ждет?
За что нам этот переход?*



Ты — та же скрипка, только скрытая.
В отличие от Тебя, у ней
два шрама от аппендицита
и музыка еще больней!



Я открываю красоту
не как иные очевидцы —
лишь для того ее найду,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ль черносливной косточкой
край Корсики с полета птицы,
мне сразу возвратиться хочется,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ли на небе ноготь,
Тобой остриженный, прилипший,
и сердце начинает екать,
хоть всем не скажешь из приличий.

Дождливый ежик по тропе
мерцает, световоды будто.
Я все равно вернусь к Тебе,
хотя пути уже не будет.

Зрачки наполнив красотой,
чтоб не пролить, сожму ресницы.
К Тебе я добреду слепой,
чтобы собою поделиться.

Совсем иная тишина
та, что предшествовала слову —
чем поцелованная словно,
что музыкой напоена.

ЗАЧЕМ ТОГДА?

Юная з/к. В глазах тоска.
Женщина зарезала мужика.

«Ах, зачем все слышится наша музыка?
Вижу Юзика.
Зачем тогда ты, милый, нажрался, зверь?
Зачем тогда ты бил меня башкой об дверь?
Зачем тогда я чистила ножом тараньку?
Надо было — раньше...

Я успела бы отсидеть,
не успев еще поседеть».



Ты ль меня зарезал, я ль тебя зарезала,
есть у нас обоих алиби железное.
Помянут на кладбище алкаши болезные —
ты ль меня зарезал, я ль тебя зарезала.

МОЛИТВА

Спаси нас, Господи, от новых арестов.
Наш Рим не варвары разбили грозные.
Спаси нас, Господи, от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.

У нас не Демон украл Самару,
не панки съели страну, не гопники.
В публичных ариях, в домашних сварах
от самоварварства спаси наш госпиталь.
Не о себе сейчас разговариваю,
но и себя поминаю, Господи.

От мракобесья обереги нас,
от светлоресья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но — голову!..

Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.



Когда народ-первоисточник
меняет истину и веру,
печален жребий одиночек,
кто верен собственному вектору.
Среди виляющих улыбочек
и мод, что все перелопатили,
мой путь прямой и безошибочный,
как пищевод шпагоглотателя.

ОЧИСТИ, СНЕГ

Очисти, снег, страну, сознание очисти.
Я руку поломал.
Я гипсочеловек.
Очисти, снег,
меня
исповедальной читкой.
Страну очисти,
снег.

Мне непонятно, с кем помолвлена отчизна.
Телеэкран души
зашкален от помех.
В душе идет метель.
Предсвадебный мальчишник.
Все пьяные, как снег.

На клавишах берез, взлетев, сыграем «чижик».
Все — мокрые, как снег,
целуются при всех.

Беспрецедентный снег, ты дух или материя?
или повальный грех?
У родины моей
менталитет метели.
Смертельно люблю снег.

Люблю ногами вверх висящие кальсоны,
в морозе, как собор
из колоколен двух...
Очисти, снег, страну
не конституционно,
а исповедью вслух.

Не трогай, гнев, страну, которой нет беднее.
Не трогай, смех, страну.
К нам падает с небес
мольба объединенья.
Я снегу присягну.

Объедини печаль Борисова-Орехова
и тех, которых нет.
Как я люблю страну,
которая уехала,
и ту, что смотрит этот снег...

Очисти душу, снег, — немедленно, сегодня.
И небо разгипсуй.
Стряхнет снег с проводов
невидимый Сеговья.
Снег абсорбирует абсурд.

ЕЩЕ ОЧИСТИ, СНЕГ

«Очисти снег!» — кричат. Прибуксовало кузов.
Снег — бал:
Традиционно русская закуска!
Снэк-бар.

Но кто очистит снег от наших безобразий?
Есть разве
ему химчистка?
Как бьется белое сердчишко!
И не понять слова гуляк:
«Гуд лак»?
или «Гулаг»?

За бывшей дачею генсека
лишь гены неба.
Наш мотель.
И агностического снега
непоправимая метель!

Очисти душу, снег, немедленно, сегодня.
Овчинку — изнутри.
Послушайся поэта старомордого —
под «дворник» брось снежку.
И видимость протри.

Очисти, господин снег, гриппозные апчихи
вкруг женщины,
не любящей аптек.
Чтоб было чем дышать,
страну и жизнь очисти,
очисти,
снег!

ПУБЛИКУЕТСЯ
ВПЕРВЫЕ

ФИГУРЫ

ПОРА ПАРАСЕЙЛИНГА

Над Маросейкою — парасейлинг.
Нас тянет купольная Москва.
Есть изумление в отземлении —
не вниз, а вверх несут купола.

Так колокольный Ивана купол,
взвивая зодчего, высоты щупал.
От парашютных полос Блаженного
не вниз, а ввысь идет притяжение.

Рей над Россиею, парасейлинг!
Тучи рассеются в благодать.
Мы не настолько опоросели,
чтоб к небу головы не поднять.

Похолодела душа. Логически
земны мы. С небом у нас интим
какой-то парапсихологический —
летим!

Хотя б однажды жить не по
«сэйлингу» —
по парасейлингу...

Учусь контролю над катастрофой.
Пучком, светящимся из спины,
из человека лучатся стропы,
что видно только со стороны.

Чем мне аукнется парасейлинг
в просевшем домике моем бревенчатом?
ПОРА СЕЯТЬ —
НЕРАЗУМНОЕ — ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ.

Я задираю башку обветренную,
чтобы успеть различить из ста —
под крайним куполом ремни
набедренные
нас инструктирующего Христа.

ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Плётин или Плотин.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платит супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.
Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!...»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

Руку выкидывала
вверх беззащитной ладонью,
как если кто-нибудь тонет...
Страшная плата была.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
мукой заплаканной, прачечными, —
за все мужские палачества
женщине надо платить.

БЫЛИНА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель
всем транслирует, дебил,
как он Дудаева убил.

Я читал в одной из книг —
Мобель дик!..»

— А Мадонна из Зарядья
тройню черных родила.
«Дистанционное зачатье» —
утверждает. Ну, дела!

Жизни смысл отстал от денег.
Мы — отвязанные люди,
без иллюзий.

Мобеля лауреаты
проникают Банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывет.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе ее соски.

*Если разговариваешь более получаса, —
рискнешь получить удар
самонаводящейся ракетой.
— Опасайтесь связи сотовой.
— Особенно двухсотой.
— Налей без содовой.*

Даже в ванной — связи, связи,
запредельный разговор,
словно гул в китайской вазе,
что важнее, чем фарфор.

Гений Мебели создал.
Мебель гения сожрал.

Расплодилось, мал-мала,
одноухие зайчата...

Ну Мебель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нем.

Нажму кнопку — кто-то трезвый
говорит во мне: «Прием.
*Абонент не отвечает или
временно недоступен*
звону злата. И мысли и
дела он знает наперед...»
Кто мой Мобель наберет?

Секс летит от нас отдельно.

В нашей качке те, кто круче,
ухватясь за зов небес,
словно держатся за ручки.
А троллейбус их исчез.

«Мо» — сказал Екклезиаст.
Но звенят мои штаны:
*«Неокапитализм — это несоветская
власть
плюс мобелизация всей страны».*

Черный мобель, черный мобель
над моею головой,

нового сознания модуль,
черный мебель, я не твой!

— Не сдадим Москву французу!
— В наших грязях вязнет «Оппель».
Как повязочка Кутузова
в небесах летает мебель.
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬ-
МОБЕЛЬМО Б Е Л ь М О ...

Слепы мы.
Слепо время само.



**Я последний поэт России.
Не затем, что вымер поэт —
все поэты остались в силе.
Просто этой России нет.**

27-IV-94

Наверно, не гунны и не черкесы.

У Дома кино, в понедельник, на Брестской,
с земли подымаю, сжимая до рези,
два грязных осколка... оссия... оскресе...
За веру в любо... и ...овече... прогресси...
прости раба Божья, Андрея Вознесе...

СОДЕРЖАНИЕ

Надпись на «Избранном»	5
«Стихи не пишутся — случаются...»	7
Торгуют арбузами	8
Пожар в Архитектурном институте	9
Сибирские бани	11
Первый лед	13
Гойя	14
Осень	15
Антимиры	17
«Сидишь беременная, бледная...»	20
Кроны и корни	22
Осень в Сигулде	24
Бьют женщину	28
Лобная баллада	30
«Нас много. Нас может быть четверо...»	33
Прощание с Политехническим	35
Баллада-диссертация	39
Римские праздники	42
Стеклозавод	46
Монолог Мерлин Монро	48
Охота на зайца	53
Тишины!	57
Замерли	59
Бьет женщина	61
Маяковский в Париже	64
«Благословенна лень, томительнейший плен...»	67
Плач по двум нерожденным поэмам	68
Из закарпатского дневника	73
«Нам, как аппендицит...»	76
Забастовка стриптиза	79
Новогодние ралли-стоп	83
Памятник	89
Мать	91
Ночь	93
Озеро Свитязь	94
Сообщающийся эскиз	95
Песня	99
Пир	100

Вальс при свечах.....	103
«Это было в марте, в вербном шевелении...»	105
Зов озера	107
Братская помощь	111
Старинная песня	113
Время на ремонте.....	115
Общий пляж № 2	120
Тоска	123
Не пишется	124
Озеро.....	127
Беловежская баллада	129
Звезда	131
Реквием	133
Из ташкентского репортажа	135
Молитва	139
«Да здравствуют прогулки в полвторого...»	141
«Нас посещает в срок...»	142
«На спинку божия коровка...»	143
Донор дыхания	144
Исповедь	146
Правила поведения за столом	148
Ода дубу	149
Ода сплетникам	152
Не забудь	155
«Знай свое место, красивая рвань...»	157
«Я — двоюродная жена...»	158
«Сложи атлас, школярка шалая...»	159
Романс	161
Сначала!	163
Заповедь	165
Петрарка	167
Выпусти птицу!	168
Песня вечерняя	171
Сон	172
Повесть	173
«На суде, в раю или в аду...»	174
«В человеческом организме...»	175

Фиалки	176
Песчаный человечек	179
Скука	180
«Мама, кто там вверху, голенаственный...»	182
Говорит мама	183
Васильки Шагала	184
На озере	187
Муравей	188
Художник и модель	190
«Ты поставила лучшие годы...»	191
Аисты	192
Старофранцузская баллада	194
Разговор с эпитафием	195
Обстановочка	197
Возвращение в Сигулду	201
Из поэмы «Андрей Полисадов»	205
Хор нимф	207
«Поглядишь, как несметно...»	209
«Не возвращайтесь к бывшим возлюбленным...»	210
Похороны Гоголя Николая Васильича	212
Вечер в «Обществе слепых»	217
«Оправдываться — не обязательно...»	220
Смерть Шукшина	221
«Для души, северянки покорной...»	222
«Можно и не быть поэтом...»	223
«Есть русская интеллигенция...»	224
«Почему два великих поэта...»	226
«Теряю свою независимость...»	227
«Мы от музыки проснулись...»	229
Сага	230
Цикламена	233
«Кому на Руси жить плохо»	234
Синий журнал	236
Сон	238
Переделкинский ключ	241
За речкой Птичь	242
«Мордеем, друг. Подруги молодеют...»	243

«Две чашки в сумерках белели...»	244
Юз	245
Неба бы...	246
Война	249
Цыгане социализма	250
Россия без очередей	252
Шло убийство	253
«Родившиеся в хлеву...»	256
Распятие	257
«Когда совсем уж плохо...»	263
Мальчик стекло	264
Грибница	266
А. Мень	268
Лиза Омона	271
Русская интеллигенция	273
«Куплю Макарова...»	275
Гарь	276
Памяти Димы Холодова	277
Другу	278
«Пусть жизни пролито полчаша...»	279
Зеленая баллада	280
Бульвар	282
«Не разлюбите без взаимности!..»	283
В Склифе	285
Зевака	287
«Тот — в Склифосовке...»	289
Переход	290
«Ты — та же скрипка, только скрытая...»	295
«Я открываю красоту...»	296
Зачем тогда?	298
Молитва	299
«Когда народ-первоисточник...»	300
Очисти, снег	301
Еще очисти, снег	303
Фигуры	305
«Я последний поэт России...»	314
«Наверно, не гунны и не черкесы...»	315

Литературно-художественное издание

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

НЕ ОТРЕКУСЬ

Избранная лирика

Составители:

Жак Виктор Герасимович

Знак Евгений Кириллович

Главный редактор *Е. Знак*

Художник *В. Мастеров*

Художественный и
технический редактор *Г. Емец*

Корректор *М. Ходыко*

Компьютерная верстка *Л. Никулина*

Ответственная за выпуск *Л. Дайлидко*

Подписано в печать 16.08.96. Формат 70х108 1/32 .
Бумага офсетная. Гарнитура Корнелия. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14. Усл. кр -отт. 18. Уч.-изд. л. 3,75.
Тираж 10000 экз. Заказ 1171

Белорусская ассоциация «Деловая инициатива». Лицензия
ЛВ № 1165. Республика Беларусь, 220026, Минск, ул. Гре-
кова, 23. Контактные тел.: (0172) 33-08-75, 34-22-12.

Отпечатано с диапозитивов заказчика в типографии
издательства «Белорусский Дом печати», 220013, Минск,
пр. Ф. Скорины, 79.



Андрей Андреевич Вознесенский (р. 12.05. 1933 г.) — выдающийся русский поэт, один из крупнейших представителей мировой литературы 20-го столетия, автор многих поэтических сборников, создатель драматургических произведений «Поэтория» (музыка Р. Ще-

дрина) и «Юнона и Авось» (музыка А. Рыбникова), а также скульптурных творений. Широкую известность приобрели его оригинальные художественные произведения «Видеомы», «Гадание по книге».

Сочинения Андрея Вознесенского издаются во многих странах мира. Он является действительным членом Российской Академии образования, избран почетным членом Американской Академии искусств, Французской Академии, Баварской академии, удостоен степени почетного доктора многих университетов мира.

Настоящий сборник стихов поэта — один из наиболее полных среди изданных за последнее десятилетие. В него вошли произведения разных лет, в том числе и написанные в последние годы.

Несколько стихотворений публикуются впервые.